

A stylized graphic in shades of blue and teal. It features a building-like structure with a staircase on the left and a piano keyboard integrated into the design. The text 'ДИНА РУБИНА' is written in white, uppercase letters across the top part of the graphic.

ДИНА РУБИНА

УРОКИ  
МУЗЫКИ

# Дина Ильинична Рубина

## Уроки музыки

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=163784](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=163784)*

*Эксмо;*

*ISBN 978-5-04-147433-1*

### Аннотация

«Рано или поздно я все-таки напишу повесть о своих взаимоотношениях с Музыкой. Это будет грустная и смешная повесть.

Может, вернее было бы сказать: повесть о взаимоотношениях с моим музыкальным образованием, этой крутой, с шаткими ступенями лестницей, преодолеваемой мною семнадцать лет?...»

# Дина Рубина

## Уроки музыки

Рано или поздно я все-таки напишу повесть о своих взаимоотношениях с Музыкой. Это будет грустная и смешная повесть.

Может, вернее было бы сказать: повесть о взаимоотношениях с моим музыкальным образованием, этой крутой, с шаткими ступенями лестницей, преодолеваемой мною семнадцать лет? Да, семнадцать мучительных лет, полных тяжелого дыхания, мерцания в глазах и карабканья по ступеням – вверх, вверх, почему-то во что бы то ни стало вверх, – к диплому консерватории?.. Нет, именно с ней, Музыкой: с мачехой, а лучше и не с мачехой даже, а с отчимом – жестким, умным и справедливым отчимом, который в самое нужное время выбил дурь из головы и поставил на ноги...

Вбитое в меня высшее музыкальное образование сидит во мне как хронически воспаленный аппендикс и дает знать о себе в самые непредвиденные моменты жизни. И тогда виолончельная тоска, всегда настигающая меня в минуты соприкосновения с музыкальным прошлым, а вернее, и не тоска, а призрак тоски – ибо самой тоски уже не существует, она умерла и осталась в пределах этого прошлого, – призрак тоски сгущается и ласково притрагивается к живому моему сердцу, и тогда я вздрагиваю и говорю себе, что непременно

но, рано или поздно, напишу грустную и смешную повесть о своих взаимоотношениях с Музыкой.

Но еще не пора, еще не сейчас. И не потому, что я боюсь этих ножевых соприкосновений с прошлым, а просто сейчас о другом.

Другая история.

Той весной выходила моя первая книжка, и я жила ею. Вернее, я не жила, а проживала недели и дни мучительно-го, выматывающего душу ожидания. В доме жили магические обозначения типографских таинств: «первая корректура», «вторая корректура», «сигнал».

Я не могла работать... На письменном столе мертвой стопкой лежал недописанный рассказ, горел просроченный договор на пьесу. Я целыми днями валялась на диване и, закинув руку за голову, представляла свою не рожденную еще книжку. Ее синюю обложку и собственное свое имя – белыми буквами на синем.

За окнами природа творила весну или весна творила природу, – во всяком случае, каждый день приносил какую-нибудь новость: то зацветал урюк нежной дымкой, то появлялись стаи индийских птичек майна, юрко бегающих по траве.

Надо было отвлечься, закончить рассказ, дописать пьесу, выйти погулять и в конце концов сменить домашний черный свитер на что-нибудь полегче. Но я с утра до вечера валялась на диване в черном свитере и молча, напряженно пересили-

вала время. Я была парализована ожиданием. Целыми днями я ждала звонка из издательства. К вечеру, не дождавшись, звонила сама. Есть ли новости? Нет. Вероятно, на днях. На днях... На днях?! А как прожить эти дни?! Да кончится ли это когда-нибудь?! Существование в ожидании становилось ужасным, непереносимым...

Сейчас я думаю, что это были самые счастливые дни моей жизни.

Наконец однажды к вечеру позвонили. Да, поздравляем, прибыл сигнал. Моя редактриса говорила спокойно-приветливым голосом, будто ничего невероятного не произошло. Не было в ее голосе упоительного счастья, и это внушало к ней ненависть.

– Но сегодня вы не успеете приехать. До конца рабочего дня осталось полчаса. Придется подождать до завтра...

– Нет-нет, я успею! Такси поймаю, или частника, или грузовик! Мусорку! Поливалку! Я буду в издательстве через двадцать минут!

Выскочив из дома в том же черном свитере, я помчалась через двор – навстречу сбывшемуся счастью в синей обложке.

– Можно вас на минутку?

В нашем дворе жила семья каких-то восточных людей – не то персов, не то осетин, не то бухарских евреев. Отец семейства, щуплый человечек с щеголеватыми усиками, работал экспедитором, развозил на машине мороженые бараньи

туши. Часто в обеденное время во дворе стояла его машина с синим фургоном. А матери в семействе не было, вот такая беда у них стряслась, мать умерла за три года до всей этой музыкальной истории.

– Можно вас на минуточку? – ко мне, робко улыбаясь, подходил папа семейства. – Если вы не очень торопитесь.

– Да, пожалуйста. – Я чувствовала, что сатанею, но сложила на лице сложную гримасу приветственного внимания.

Мою жизнь всегда отягощали издержки домашнего воспитания, перегруженного традициями восточной вежливости и приветливого уважения ко всем – к старцам, к соседям, к знакомым, к незнакомым, к еле знакомым тем более, ведь они вроде бы знают тебя, но знают недостаточно, не дай бог составят о тебе превратное мнение... Папа восточного семейства как раз относился к отряду еле знакомых. Встречаясь во дворе, мы кивали друг другу.

– Да, пожалуйста...

– Мы незнакомы, но мы об вас знаем... – торопливо говорил он, все так же робко улыбаясь. – Об вас во дворе хорошо говорят.

– Да? – вежливо удивилась я, не зная, что еще сказать по этому поводу. Секунды уносились прочь, книжка лежала в издательстве, на столе редактрисы. – Так что же?

– Вы ведь закончили консерваторию? – улыбочиво продолжал он. Я затосковала.

– Ну... вообще-то... да, – проямлила я.

К тому времени прошел год, как я рассталась с должностью концертмейстера и была совершенно свободна для занятий литературой. И эта выстраданная долгожданная свобода все еще казалась мне непозволительным счастьем, чем-то неприличным, неловким, из ряда вон выходящим. Многолетние обязанности по отношению к Музыке реяли за моей спиной грозной недавностью, и я еще не смела до конца поверить, что свободна, свободна, свободна! Так человек, долго таскавший тяжкую ношу и наконец сбросивший ее, рад бы поверить, что легок отныне и порывист, да ноют плечи, ломит поясницу, дыхание неровно.

Маленький вежливый человечек напомнил о моей многолетней каторге, о кнуте, который совсем недавно еще гулял по моим плечам. И плечи мои содрогнулись...

Папа семейства опустил тяжелую авоську с картошкой, и та грузно развалилась на асфальте.

– Я насчет дочки... – продолжал он, разминая руки с багровыми рубчатыми следами от веревочной авоськи. – Она такая способная, такая умница, вы просто получите удовольствие!

– А-а, – поняла я, – вы хотите ее музыке учить?

– Вы будете получать большое удовольствие, – просительно повторил он и, спохватившись, торопливо добавил: – Цену сами назовите!

– К сожалению, я уже не связана с музыкой. Понимаете, совсем... – Я сделала огорченно-вежливое лицо и даже ру-

ками слегка развела.

Потом искоса глянула на часы и беззвучно застонала: до-мчать меня до издательства мог теперь только лихой частник.

– Как это – совсем? – Он недоверчиво улыбнулся. – Ну, до-ми-соль какое-нибудь еще помните, туда-сюда?

– До-ми-соль помню, – уныло согласилась я, чувствуя, что втягиваюсь в какие-то нелепые объяснения, отнекивания, настаивания, вместо того чтобы вежливо, но твердо отказать сразу.

– Мы очень хотим вас, – сказал он и вздохнул. – Об вас во дворе хорошо говорят. Вы будете получать от нее удовольствие, она такая способная, моя Карина!

– Знаете что, – предложила я, – давайте я созвонюсь с друзьями, музыкантами, и подыщу для вашей Карины хорошего педагога.

– Мы только вас хотим, – грустно, но настойчиво возразил он. – Ее покойная мать так мечтала об этом...

Я поняла, что погибла. Робкий человек, сам того не подозревая, огрел меня второй раз.

У меня есть жесткие правила, я умею отказывать. Я умею дорожить своим временем и оберегать его от посягательств ненужных мне людей. Необходимо только, чтобы люди эти были вполне благополучны.

Вот звонит приятель и просит написать рецензию на спектакль, поставленный его другом-режиссером.



– Исключено, старина, – мягко, но твердо отвечаю я. – Ты же знаешь, у меня жесткое правило: не делать того, чего не умею. Я не театровед – раз, времени нет – два, и, в конце концов, я просто не хочу, что само по себе – вполне уважительная причина.

Приятель понимающе поддакивает в трубку:

– Да, да, конечно... Ты права... Но жаль человека, понимаешь. Жена в больнице, дочка руку сломала, а тут еще главный – скотина, жрет его поедом, выпирает из театра.

Я еще мямлю что-то о срочном переводе, но жесткое правило – мой боевой конь – уже споткнулось о несчастья неизвестного мне режиссера, подпруга ослабла, и я вот-вот вывалюсь из седла. Где ты, мой боевой конь? Он подставляет шею под хомут, и это уже не конь, а рабочая кляча, которой можно понукать. И мой приятель это прекрасно чувствует.

– Да я тебе слово даю, – напирает он, – вполне приличный спектакль, тебе даже врать не придется. Напиши пару добрых слов, поддержи человека в беде. Тебе это зачтется...

Где именно мне это зачтется, я уже не уточняю, потому что выбита из седла. Я только осведомляюсь убитым голосом, когда начало спектакля.

И вот я плетусь смотреть совершенно ненужный мне спектакль о пионерской совести и битых два часа пялюсь на сцену, где любимую всем классом пионервожатую играет старейшая актриса труппы. Я смотрю на ноги заслуженной актрисы – ноги пожилой женщины, страдающей тромбофле-

битом, – и тоскую... После чего дня три маюсь со своей отнюдь не пионерской совестью и пытаюсь втолковать ей что-то про жену в больнице и скотину главного, а совесть посылает к черту мою тряпичность и отвечает, что на месте скотины главного давно бы уже выгнала из театра друга моего приятеля. В конце концов я все-таки выжимаю из себя две странички пошлой кислятины, где вру, вру бесстыдно, например, называю пожилую пионервожатую одной из удач спектакля. Подписываюсь, конечно, вымышленной серенькой фамилией и принципиально не покупаю номер газеты, где напечатана эта ахинея. Но совесть, или как там ее назвать, долго еще почесывает ушибленное место и похныкивает над ним.

– Да, ее покойная мать просто-таки мечтала, – сурово повторил папа семейства, – чтобы Карина научилась играть на инструменте... А цену назовите сами.

– При чем здесь деньги! – Я еще пыталась устоять, но это было уже бессмысленно. Есть понятия, которые своим святым значением действуют на мою жизнестойкость парализующе. Девочка была сиротой, и бесполезным становилось дальнейшее препирательство: я уже знала, что займусь этим, не только ненужным, но и бесконечно мучительным для меня делом – стану давать девочке уроки музыки.

– Ну, хорошо, – уныло сказала я. – Посмотрим... Я зайду сегодня, попозже. Познакомлюсь с вашей девочкой.

Он вспыхнул от радости, и заговорил быстро, сбивчиво, и говорил еще минут пять. А я вежливо кивала, и от ненависти

была близка к обмороку, если такая причина для обмороков существует. Я ненавидела его, свою будущую ученицу, свою тряпичность. Но больше всего я ненавидела свое музыкальное образование, и от этой бессильной ненависти першило в горле и чесались глаза.

Вечером я стояла в тесной прихожей, освещенной пронзительно-красным светом, и хмурая девочка лет двенадцати искала для меня тапки. Наконец она вытащила из-за двери старые клетчатые тапки и бросила их передо мной:

– Не стойте босиком.

Из комнаты прошаркал старик – белые космы, белая борода, очень благообразный, но, видимо, сумасшедший, потому что девочка нахмурилась и сердито прикрикнула:

– Ну что тебе? Иди, иди ложись!

Этого старика я видела много раз. Весной, когда начинало пригревать, старший внук бегом выносил во двор старый венский стул, ставил его под нежно зеленеющим виноградником, потом забегал в дом и осторожно выводил деда. Тот часами сидел на стуле – красивый, как библейский пророк, с ермолкой на белых космах; дремал или смотрел на происходившее во дворе пустынным заоблачным взором...

Старик вгляделся в меня и коротко спросил что-то на непонятном языке. Это был восточный язык, но не узбекский; узбекский я не то чтобы знаю – нет, я не знаю его, но чувствую ухом и нёбом.

Девочка крикнула:

– Нет, не мама! Иди к себе, я говорю!

И тут я заметила другую девочку, помладше. Она жалась к косяку двери и смотрела на меня с тихой улыбкой. Взгляд ее блестящих прозрачных глаз был даже не ласковым, нет – любовным. Она ласкала этим взглядом все вокруг – и меня, и сестру, и сумасшедшего деда, и дверной косяк. Она всех, всех любила...

– Ну, здравствуй, – сказала я ей. – Так это тебя я буду учить музыке?

– Нет. Меня, – буркнула старшая. – Вы зайдите, я сейчас. У меня там котлеты жарятся...

Она исчезла. Старик все еще молча смотрел на меня, тревожно и выжидающе, потом опять спросил что-то у младшей девочки. Та замотала головой и, бегло улыбнувшись мне, сказала:

– Да нет, это не мама. Иди спать, деда... – прильнула к старику и повела в глубь квартиры, что-то нежно приговаривая на том же восточном языке.

В большой комнате стояли старый диван, буфет, несколько венских стульев и черное обшарпанное пианино «Октябрь», вероятно купленное по объявлению... Такие объявления с бахромой телефонных номеров, бумажной чешуей покрывали торцовую стену нашего продовольственного магазина.

На крышке пианино сидела очень пушистая пепельная

кошка с дикими сумрачными очами. Я согнала ее, подняла крышку и проверила строй. Настраивали не так давно – инструмент звучал глуховато, но чисто.

Я села на вертящийся табурет, и полировка инструмента тотчас явила мое отражение – унылого, отупелого от гамм спутника детства и юности. Мы не виделись год, длинный счастливый год, в течение которого я ни разу не подошла к инструменту, и вот встретились.

Ах, мой черный человек, alter ego с темными глазницами, тусклым бликом на скуле, мой тягучий тягостный сон, мое подсознание – ну, здравствуй...

Отвыкшими пальцами я взяла минорный аккорд и нажала ногою педаль. Печальное созвучие влажно задрожало в воздухе. Тогда я заиграла, что помнила и любила всегда, – «Фантазию-экспромт» Шопена, эти жемчужные петли нежно-прихотливой мелодии, петли, петли вокруг сердца и выше – вокруг горла, и наконец затянутый на рыдании аркан...

Проиграла несколько тактов и оборвала: пальцы, год не прикасавшиеся к клавиатуре, ощущались протезами. Вот оно, проклятое неблагодарное ремесло: ничего не остается, если ежедневно не бросать в его алчущую пасть многочасовую каторжную работу.

Рядом со мной тихо вздохнули. Младшая девочка, прижавшись спиной к обоям, ласково мне улыбалась. Позже я заметила, что она жалась не только к родным – деду, сестре, отцу, – но и к предметам, словно ее маленькое существо, пе-

реполненное любовью ко всему на свете, жаждало приникнуть, припасть, обласкать все, что попадалось ей на глаза.

– Ну, что? – спросила я ее. – Что улыбаешься?

– Музыка, – шепотом сказала она, кивнув на клавиатуру. – Красиво... Рассыпается, как шарики...

Из кухни, на ходу развязывая фартук, вышла старшая. Я поднялась с круглого табурета и хлопнула по нему ладонью:

– Садись, – а сама пересела на венский стул. Карина покорно опустилась на табурет, ссутулилась, протянула руки вдоль колен и внимательно уставилась на свое отражение в пианино. Кого-то мучительно напоминала мне эта девочка. Напоминала настолько болезненно, что даже не хотелось ворошить память.

– Поднимись-ка, – сказала я. – Тебе высоко. Давай подкрутим табурет.

Подкрутили... Она опять покорно протянула вдоль колен руки и безразлично уставилась на свое отражение – так старый пастух смотрит в сухую степную даль выжженным взглядом.

Я почувствовала, что сейчас должна сказать ей что-нибудь живое, человеческое, потому что именно человеческого она от меня не ждет. Наверное, думает, начну ей рассказывать, что инструмент, за который она села, называется фортепиано... Нет, милая, слишком хорошо я помню свои первые уроки музыки!

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.